



## КОЯНТО

От сильного мороза часто сходил я с нарт и бежал рядом, держась за дугообразную стойку — «стоячий баран». К этому вынуждал не только мороз. Сидеть в одной позе боком, когда лицо закрыто от встречного ветра малахаем и капюшоном байковой камлейки, занятие довольно трудное. Когда мне порядком надоела эта ставшая у каюров академической поза, я перебросил левую ногу через стоячий баран и уселся верхом на нарте.

Дорога была хорошо обкатана, и собаки шли резво. Я повернулся вполоборота, сел спиной к разношерстной упряжке, шустро семенящей по жесткому насту, сразу же стало теплее. Я даже выпрямился, подняв голову. И увидел перед собой огромное оранжевое солнце с четкими краями. Словно не настоящее, а бутафорию. Шурясь, всматривался я в него и различил в самом центре плоского шара переливы густых красок, от которых веяло одновременно и холодом и теплом. Северное холодное многоцветное светило. Я бы добавил еще — зимнее. Зимой на Севере оно особое: чем ярче светит, тем сильнее мороз. И не успеет показаться из-за горизонта, как снова садится. Удивительно еще и то, что восходит оно и заходит почти в одном и том же месте.

Огненный шар готовился скрыться за пологую сопку. Рядом с ним по обе стороны на одинаковом расстоянии стояли, как часовые, две вертикальные радуги. Я часто и говорил, и писал, словом, без устали повторял, что никогда раньше, ни на материке, ни на юге Камчатки я не видел, чтобы радуга была такой прямой. Прямой, как стрела. Здесь же, на Севере, в ясный солнечный день можно увидеть две радуги рядом с солнцем. Коряки их называют детьми мороза. Даже ради того чтобы посмотреть на эти сказочные многоцветные стрелы, стоило ехать на собачьей упряжке.

Я направлялся из районного центра в далекий поселок. Судя по тому, как докладывала главный врач участковой боль-

ницы, ничего особенного там не случилось. Но я ехал. Весь день гнал собачью упряжку. Весь день смотрел сразу на три части света и, не переставая, думал о старике Иттеке. Я думал об Иттеке, а сам не мог отрешиться от мысли, что сижу не на собачьей нарте, а в самолете и смотрю сверху на землю.

Итак, я ехал на собаках и вспоминал, как из иллюминатора самолета гляжу вниз. Более сорока раз летал я с Камчатки на материк. Выходит, я уже дважды успел побывать на Луне и теперь находился на пути к Земле. И все это время я смотрел на нее и всегда, завидя какой-нибудь одинокий домик в сибирской тайге или юрту в камчатской тундре, раздумывал об одном: «Кто там живет? Как можно так жить в заброшенной юрте, в затерянном в снегах домишке?» Я сидел спиной к разношерстной упряжке, смотрел на все более ледящее оранжевое солнце, думал о старике Иттеке, и вспоминал, как в Москве в одном старинном доме уже немолодая, но еще очень красивая женщина показывала мне портрет своей прабабушки. В небольшой овальной рамке был девичий портрет. Лицо совсем как у Натальи Гончаровой: волосы каштановые, мягкие, нос прямой, шея тонкая и длинная, а глаза точно такие, какие часто можно встретить на картинах Кипренского и Тропинина.

Помнится, я тогда перевел взгляд с портрета на лицо хозяйки дома и обомлел: до чего же они были похожи! Хозяйка дома, мой современник, почти полностью повторила внешность своей прабабушки. После той встречи, гуляя по Москве, я всматривался в лица красивых женщин и невольно задумывался над их родословной. Над тем, как они продолжают украшать жизнь, передавая из века в век, как эстафету, свою красоту. Я тогда еще думал, что вот, не дай бог, случись несчастье с кем-нибудь из них, одна линия сошла бы с дистанции. Сошла бы навеки. Навсегда.

Вот какие мысли одолевали меня, когда я ехал по белой безмолвной тундре на своей собачьей упряжке...

В чуме нас было двое: старик Иттек и я. Пастбище оленей находилось недалеко от поселка, и поэтому бригада часто уезжала на оленьих упряжках домой. Уезжала, как говорили оленеводы, субботничать. На этот раз четверо пастухов и две чумработницы направились в поселок накануне Нового года, чтобы повидать своих детишек, которых должны были привезти на каникулы из районного центра.

Посреди чума горел костер, и над ним висели почерневшие от копоти чайники, кастрюли, ведра. Чуть поодаль на длинной

жерди были развешаны кухлянки, малахаи, торбаса, коагли и другая корякская одежда, сшитая из оленьей шкуры. Старик Иттек время от времени подбрасывал в костер мелко нарубленного кедрача, и всякий раз языки пламени стремительно вырывались вверх, облизывая бока висевшей утвари и дробясь на множество красных искорок, которые исчезали в черном небе через открытый купол чума — конусообразного шатра.

Я обратил внимание на то, что старик намного крупнее остальных членов бригады. Коряки вообще мелкорослые, а тут прямо богатырь. По всему видно, ничего в нем европейского или камчадалского нет — чистокровный коряк с выступающими скулами, небольшим носом и узкими, едва заметными глазами. На левой щеке его был глубокий шрам, а на лбу, извиваясь сквозь множество морщин, синели три перекрещенные линии — наколки.

Старик не знал своего точного возраста, как, впрочем, этого не знает никто из давних аборигенов Камчатки. Определить возраст коряка, как говорится на глаз, дело очень трудное. Я встречал пятидесятилетних оленеводов, которые были выносливы как спортсмены-марафонцы, и, глядя на них, можно было дать не более тридцати. Кто перешагнул за пятьдесят, тот и в восемьдесят лет будет молодым. В поселке Хаилино я видел бабу Аню (так все зовут там восьмидесятилетнюю корякку-танцовщицу), она могла часами лихо танцевать.

Старику Иттеку перевалило за девяносто. Конечно, никаких документов, подтверждающих это, нет и в помине. Есть косвенные факты. Например, Иттек хорошо знал англичанина Свенсона. Когда Свенсон разъезжал по поселкам и скупал у местного населения пушнину, Иттек был уже взрослым мужчиной. Он хорошо помнил, как за две таблетки от лихорадки коряки давали представителям фирмы Свенсона десять соболей. А это было лет шестьдесят назад. Когда красноармейский отряд шел по Камчатке на север, Иттек подвозил на своей упряжке красного командира Чубарова, который обращался к нему не иначе, как «отец». (Это сейчас молодые парни называют друг друга «стариками», «отцами» да «дедами», а тогда слова эти предназначались людям соответствующего возраста.)

Есть еще одно доказательство, говорящее о том, что Иттеку пошел десятый десяток. Это большой шрам на его лице. Коряки — народ исключительно миролюбивый. В пылу гнева они могут накричать друг на друга, не больше. Ударить ножом мог только кто-нибудь из миссионеров лет шестьдесят назад.

И наконец, самый главный документ, заменяющий метрику, — это его собственный рассказ. Коряки никогда не лгут, они просто не умеют лгать. Всю ночь при свечке записывал я исповедь Иттека. Он говорил вперемешку на русском и корякском языках. Но прежде о причине, заставившей Иттека откровенничать.

Костер догорал. В чуме кончились дрова. Я встал было, чтобы пойти за ними, но Иттек остановил меня, поднялся и скрылся в черной шели за висячей дверью, сделанной, как и все, из оленьей шкуры. Я вновь обратил внимание на богатырское сложение. Через некоторое время он вернулся, неся охапку нарубленного кедрача.

Я разглядывал старика. Лицо его показалось мне каким-то необычным, не по-стариковски красивым, плечи очень широкими. В чуме ему было явно тесно. Вот тогда я и спросил, почему он такой здоровый, крепкий, ладный в отличие от своих соплеменников.

Старик стал устраиваться возле костра на развернутом кукле. В черном отверстии купола с неровными краями сквозь дым иногда можно было разглядеть звезды. Время от времени слышался гул самолета. Старик отпил несколько глотков холодного чая и заговорил:

— Отец мой, как и я, был пастухом. У него даже имелись собственные олени — около сотни. Никто, как мой отец, не знал этих животных. Он часто говорил, что олени непохожи друг на друга: у каждого свой характер, свой нрав. Но в то же время все они отличаются только мастью и формой рогов. Олени, если они здоровы, всегда одного веса и роста. Помню, с детства я обращал внимание, что олени, волки, медведи, зайцы — словом, все обитатели тундры — какие-то одинаковые, а люди все разные. И еще: в нашем роду было очень много рослых и красивых людей. Встречались, конечно, и маленькие, невзрачные, но их оказывалось очень мало, и они, наверное, нужны были для того, чтобы люди научились замечать красоту.

У отца моего был только один бог на земле — это справедливость. Он даже считал, что красивый парень должен непременно жениться только на некрасивой, ибо это справедливо по отношению к будущим детям. Но когда мне приглянулась высокая, стройная красавица Гая, отец ничуть не противился, даже, напротив, был очень рад такому выбору. Тут ему или изменило чувство справедливости, или он считал меня уродом.

Вскоре мы с Гаей поженились, и счастьем моему не было предела. Потом явились к нам люди с винчестерами. Вначале они были миролюбивы. Меняли на пушнину порох, соль, муку, бисер, кусочки разбитых зеркал. Потом, напившись, начали стрелять в людей. Они, как олени, были похожи друг на друга. У всех были бороды, усы; все не расставались с кривыми ножами на боку и с винчестером. Только самый главный отличался от остальных — он был совершенно лысый, носил большие усы и звали его Крот. Вскоре они ушли, и мы все реже и реже вспоминали Кротов. Так мы прозвали их по имени главного.

Жили мы с Гаей хорошо, в достатке. Я ходил на медведя, на горного барана. Зайца, лису, соболя и другую мелочь брал без выстрела, одной хитростью.

Мне хорошо запомнился следующий год после отъезда Кротов. Все кругом было покрыто свежей зеленью, и вдруг выпал большой снег, который так и не растаял, как это случается обычно. Но запомнился год не только поэтому. Вновь к нам заявились Кроты с винчестерами. Только на этот раз их было очень много. Верховодил ими все тот же лысый Крот с большими усами и кривым ножом на боку. Они спаивали коряков, обирали их пуще прежнего и, напиваясь, каждый день кого-нибудь отправляли на тот свет.

От отцов и шаманов мы унаследовали самое главное богатство тундры — справедливость, что означало прежде всего «нельзя убивать человека». Нас не учили, как быть, если убивают тебя. Больше того: Крот убивал невинную старуху, а шаман успокаивал ее сына напоминанием о священном законе предков.

Вконец озверевшие Кроты стали уже измываться над нашими девушками. Они насиловали их и, чтобы до конца оставаться безнаказанными, подкупали шаманов. Мою семью они не трогали. Видимо, побаивались моего внушительного роста, хотя сам Крот поглядывал на меня с каким-то звериным желанием разорвать на куски.

В тот день я вернулся домой с охоты очень рано. Я спешил к Гае. Она готовилась стать матерью, и поэтому я всегда спешил. Не знаю, сколько лет прошло с тех пор, но всегда вспоминаю, как тревожно было на душе, когда я приближался к поселку. И чем ближе, тем тревожнее. Недалеко от моего чума стояло несколько человек и среди них отец. Все молчали. Отец словно боялся смотреть мне в глаза. Почему-то в голове сразу мелькнуло: «Гая! С ней что-то случилось...»

Я рванулся к чуму. Нагнулся, чтобы войти, но вдруг рухнул на снег. Ноги отказали. Я был уверен: случилось то, что бывало в тундре испокон веков. С детства я помню, как много женщин наших умирало в своем пологе во время родов. Я больше всего боялся этого...

Долго сидел я так у входа в чум, пока ко мне не подошел отец. Он постоял некоторое время подле меня и сказал всего одно слово: «Крот».

Тут меня всего и прожгло, словно олень резвый подбросил на рогах. Ворвался я в чум — и остолбенел. Разум помутился, и, чтобы не упасть, я присел. В пологе лежала моя Гая с распоротым животом. Рядом на шкуре — скрюченный ребенок. Их связывала пуповина.

Двое суток шел я за Кротами. Я знал, что наверняка загоню оленей, и поэтому привязал к аргизе еще две пары молодых и крепких. Два дня рыскал по тундре и, наконец, увидел их. У них было много оленьих упряжек. Я тихо шел за ними, стараясь оставаться незамеченным. Наступил вечер, и Кроты стали устраиваться на ночлег. Я оставил своих оленей в кустарнике и с наступлением темноты начал подбираться к палатке Кротов. Уселся на их же оленьей аргизе, стал ждать ночи. Из палатки доносился пьяный шум. Потом громко запели, и вскоре все умолкло.

Я ползком пробрался к палатке, отгоняя прочь страх перед нарушением закона предков. Я, может, был первым коряком, который собирался убить человека. Когда я проник в палатку, костер еще горел. Все спали похрапывая. Их было человек пятнадцать. Я мог бы поочередно перерезать всех, но решил, что во всем виноват только один Крот — он самый главный виновник. Убивать спящего я не хотел. Осторожно подошел к кукулю Крота. Снял меховую рукавицу и засунул ее в ненавистный рот.

Крот тотчас же привстал на локтях и широко открыл глаза. Мне нужно было, чтобы он понял, за что его убивают. Языка его я не знал и поэтому стал судить на своем языке. Он вмиг съезжился, забегал в темноте глазами, словно ища помощи. Мне стало противно, что он такой жалкий трус. Я тогда подумал, что вся сила у этих Кротов в их винчестерах, в том, что они орудут шайками.

Пока я чинил суд, из кукуля со стремительностью ветра взметнулась рука, и я успел лишь заметить блеск металла в воздухе. Как же я не подумал, что спал Крот, не раздеваясь, с кри-

вым ножом на боку? Лицо мне обожгло. Я почувствовал, как по щеке течет горячая кровь. В следующую минуту нож был в моей руке. Тяжелый, холодный, кривой. Этим самым ножом Крот убил Гаю. Мысли о Гае придали мне решительности. Сильным ударом я распорол кукуль и вонзил нож в Крота. Перешагивая через спящие тела, я вышел из палатки.

Похоронил я жену. Похоронил сына, который так и не увидел свет, не успел сделать первый вздох, не успел получить имя, давно уже заготовленное. Помаялся день-другой в поселке и ушел в тундру. Не мог оставаться на людях. Уже и не помню, сколько я тогда жил в тундре — год, два, три. Привык к одиночеству. Одно было невыносимо: всякий день видел во сне Гаю. Она приходила ко мне каждую ночь. То одна, то с ребенком. Вначале я не знал, как скоротать день, чтобы ночью во сне встретиться с ними, но потом это превратилось в пытку. Я боялся спать. Мне казалось, что схожу с ума. Тогда и решил вернуться в поселок.

Но лучше б мне сойти тогда с ума. Поселка нашего я не нашел. Узнал сопку, знакомую с детства. Она одна такая, напоминающая спину лахтака. Рядом бежала все та же быстрая речка, которая огибала с трех сторон поселок. Все как раньше, а самого поселка не было. Ни одной землянки, ни балагана, ни чума. Пусто. Все поросло высокой травой и ягелем.

Долго я бродил то вниз, то вверх по реке, пока совсем в стороне от нее не набрел на несколько землянок, похожих на берлоги. Там жили люди из нашего племени. Узнав о том, что я пришел, они вылезли из своих землянок и смотрели на меня с каким-то ужасом в глазах, были уверены, что я давно умер. Они собрались в круг. Я как-то разом охватил их одним взглядом, и мне сделалось страшно — все такие маленькие, скрюченные, уродливые.

— Где остальные? Где отец? — закричал я, обращаясь сразу ко всем.

И они поведали мне горькую историю нашего племени. Оказалось, через год опять явились Кроты. Перво-наперво глумились над отцом моим. Накинули на шею чаут и стали тянуть в разные стороны, но не давали умереть. Отец еще жил, когда Кроты взялись скальпировать его. Потом бросили в яму. Они не произвели ни одного выстрела. Всех перерезали своими кривыми ножами. Истребив вначале молодых, взялись за стариков и детей. Особенно охотились за беременными женщинами. Спорили о том, кто во чреве — мальчик или девочка.

Всех красивых девушек увезли с собой. Некоторых после находили в тундре мертвыми, истерзанными сначала Кротами, а затем волками.

Я слушал все это, и глаза мои наливались кровью. Это я, я принес несчастье... Зачем не убил я тогда всех Кротов? Волки есть волки, и нечего их делить на главных и неглавных. А Кроты были настоящие шакалы. И я решил покончить с собой, чтобы искупить вину, но тут узнал, что Кроты поступали так и с другими племенами. С одними немного раньше, с другими позже. Значит, думал я, не во мне дело: Кроты во всех племенах вырезали рослых парней и красивых девушек. Так откуда же нынче взяться рослым парням и красивым девушкам? Покажи мне любого человека в тундре, и я скажу, кто был его отец. Я всех их родителей, дедушек и бабушек помню. А помню потому, что дети похожи на них. Они, как оленята, растут и повторяют своих родителей.

Кроты не только сделали нас малочисленными, но и мелкорослыми, некрасивыми. И вот я думаю: что было бы с нами, если бы не пришли большевики? Слово это я тогда впервые услышал от Чубарова. Теперь в тундре все заново создается, и красота человеческая тоже. Люди над этим не задумываются, потому что по неродившейся красоте не плачут. Люди плачут только над тем, что теряют. Потом забывают и это. А то, что могло родиться, но не родилось, — это уже не считается потерей.

После моей трагедии много я на своем веку думал-передумал. И, кажется, понял, почему люди не плачут по неродившейся красоте. Они надеются на женщин. Красоту создают именно они. А у наших женщин обычай один есть: перед родами с ненавистью думать обо всех Кротах, о тех, кто способен убивать красоту. Говорят, это помогает. Да и я сам вижу, что это так.

Старик Иттек спокойно спал. Набросив на плечи кухлянку, при свече я дописывал рассказ. Глаза слипались, но я хотел дописать потому, что спустя время многое забудется. Костер догорал, становилось холоднее. Может, поэтому старик время от времени все глубже и глубже залезал с головой в кукуль. Наконец я окончил. Погасил свечу. В чуме наступил мрак. Правда, через некоторое время вновь стали различимы предметы. Это светилась зола.

Я лежал и смотрел на рваный кусочек неба, где ярко выделялись, словно нарисованные, звезды. Уже в который раз до-



носился до меня гул самолета. Накануне, как я говорил, была плохая погода, и вот теперь самолеты старались наверстать упущенное. Выходит, если бы подождать хоть сутки, то на вызов можно бы вылететь вертолетом. Но об этом я уже не жалел. Я только подумал о том, что вот днем по этой трассе летают самолеты, и, наверное, не раз летал я. Наверное, не раз смотрел сверху на чум Иттека и, как всегда, задавал себе вопрос: «Кто там живет? О чем они, эти люди, думают? Что их заботит?»

Проснулся я от лая собак. Старика рядом не было. На улице разговаривали, и по голосам я узнал вчерашних пастухов. Как это понять: ведь они уехали субботничать, ведь завтра уже Новый год.

Это действительно были пастухи. Один за другим они с шумом вваливались в чум, каждый раз обдавая меня холодом. Последним вошел Иттек. Он, улыбаясь, направился к своему неприбранному кукулю. Пастухи продолжали громко и весело разговаривать. Постепенно их настроение передалось и нам со стариком. Говорили все одновременно. Никто никого не слушал, но, наверное, каждый говорящий был уверен, что слушают именно его.

Они все, перебивая друг друга, делились впечатлениями о пребывании в поселке. А впечатлений, судя по всему, было так много, словно они там находились не ночь, а год. Кто-то достал початую бутылку, и чум уже гудел как улей. Люди были счастливы. Им было хорошо.

Меня поразило, что люди эти за день до Нового года, когда все готовится к празднику, когда дома у них находились дети и жены, вернулись в чум, в табун, в тундру. Они посчитали несправедливым, что старик Иттек и их гость будут встречать Новый год одни, без веселья. Один из пастухов так и сказал: веселье — это когда справедливо.

Я всматривался при тусклом свете костра в лица пастухов, и на душе становилось теплее оттого, что они здесь. Неподдельная искренность, доброта, сердечность делали этих людей по-настоящему красивыми. Я переживал, что они из-за меня оставили в теплых домах праздничные столы и вернулись в тундру. И переживал больше всего оттого, что встречать с ними Новый год не имел никакой возможности. Мне нужно было спешить дальше. Я просто не имел права задерживаться ни на один час. Я находился на работе.

В нашем деле лучше все-таки быть начеку. Никак не могу привыкнуть к термину «неправильное предлежание». Ведь

роды — это до того естественное дело, что медицине здесь вообще нечего делать. Разве что быть только рядом, и не больше. Очень часто так называемое «неправильное предлежание» в последний момент становится самым что ни на есть правильным. И тут без особой надобности вмешиваться в «дела Божьи» вообще грешно, если не считать, опасно. Тем более опасно, когда у врача мало опыта. Вот потому-то участковый врач «перепаниковала». И я успел в самый раз.

За несколько часов до Нового года родился большущий крикливый мальчуган. Сразу же в родильном помещении стало шумно. На высоком белом столе лежала мать, и появившаяся улыбка после первого крика ребенка продолжала оставаться на ее скуластом лице.

— Как назовете сына? — спросил я ее.

— Как скажете, доктор, так и назовем.

— Дело это нелегкое, — сказал я. — А как зовут вас?

— Гая, — тихо произнесла она, продолжая улыбаться.

— А отца как зовут? Мужа вашего?

— Его Иттеком. Он там ждет. — Она кивнула головой в сторону окна.

Меня слегка качнуло. Я крепко схватился за холодный край стола.

— Вот что, Гая. Я вас очень прошу, подождите до завтра. Не давайте пока никакого имени. Я вам завтра непременно скажу.

Рано утром я позвонил в санавиацию и попросил прислать срочно вертолет. Не теряя времени, я тут же отправился за поселок на вертолетную площадку. Место было открытое, и продувало со всех сторон. Чтобы не продрогнуть, я прыгал с ноги на ногу и вновь ловил себя на том, что думаю о сходстве между маленьким портретом прабабушки, может ровесницы Пушкина, и моего современника.

Мысли мои перебил гул мотора. Через некоторое время приземлился вертолет, подняв облако снежной пыли. Не успел винт остановиться, как я уже ворвался в кабину и стал торопить пилота. Ничего не поняв, он высунулся в открытый иллюминатор и скомандовал громко:

— От винта!

...Я вошел в чум Иттека так тихо, что меня не сразу заметили. Потом вдруг поднялся такой визг, словно это явился не человек, а живой медведь. Меня стали хлопать по плечу, усаживать к костру. Я подошел к Иттеку. Он из большой пиалы пил густой чай.

— Иттек, — обратился я к нему после недолгого молчания, — скажи мне, пожалуйста, только ничего не спрашивая: как бы ты тогда назвал своего сына?

Иттек поднял лицо, словно хотел взглянуть на небо, закрыл свои маленькие узкие глаза, возле которых еще четче обозначились морщины. Потом опустил голову и едва слышно произнес:

— Коянто.

...Гая встретила меня все той же улыбкой, которая словно была у нее нарисована на лице. Она лежала на белой простыне. Густые, черные как смоль волосы не были прибраны. И это ей шло. Она смотрела то на меня, то на ребенка, лежавшего рядом и завернутого в голубое одеяльце.

— Доктор, привезли имя моему сыну?

— Привез, — сказал я.

— Как зовут моего сына?

— Коянто.

Ее искрящиеся щелочки-глаза затерялись в счастливой улыбке.

— Коянто! Коянто! — певуче произнесла она. — А знаете, что такое Коянто? Это «оленный» человек. У нас так зовут поэтов. Значит, быть ему поэтом, доктор.